

Вячеслав ШУГАЕВ

Сегодняшние страницы об Александре Вампилове примыкают к моему очерку «Зима в Пахре», напечатанному в «Литературной России» 13 августа 1976 года, а хронологически в известной мере предваряют его, восстанавливают некоторые дни, предшествовавшие пахринской зиме.

Автор

В ИЮЛЬСКИЙ вечер 1962 года у кирпичных старинных стен Иркутской музыкальной комедии протянул мне руку черно-кудрявый, с азиатским разлетом бровей человек.

— Саша, Вампилов. — Он стоял против солнца и чуть щурил темно-медовые глаза с какою-то донной, зеленоватой подсветкой. — Да, теперь вот и очно.

Он учился в Центральной комсомольской школе, когда я приехал в Иркутск. Но до этой встречи мы кое-что слышали друг о друге от общих знакомых. Теперь он, отучившись, вернулся в «Молодежку» ответственным секретарем.

Лето нашего знакомства было солнечным, с тихими долгими закатами, тонущими в напористом прозрачном холоде Ангары. Саню всегда тянуло к воде: «Может, пройдемся по набережной?» «Что-то очень уж людно и пыльно стало. Давайте отправимся на залив. У костра посидим, молодость вспомним». Те летние дни напыляют сейчас, как некое беспрерывное праздничное кружение по островам, заливам, по тенистым и сонным протокам. Всплески костров над сырой прибрежной травой, пыльные ночные споры, навсегда забытые возле этих костров. Сколько же, однако, времени успели мы отдать застольям, дружачествам, всевозможным спорам и ссорам, вряд ли нужным кому-то еще, кроме нас, спорам, которых не перешагнешь на бумаге, тем не менее они живы, осели на сердце, так сказать, неизреченно и неизъяснимо прелестью.

И странно, что наша последняя встреча с Саней, наш последний разговор тоже пришлось на ясный июльский вечер 1972 года — товариществу нашему было отпущено ровно десять лет. Мы говорили о пьесе «Прошлым летом в Чулимске», только что написанной им. Саня курил и, часто затыкаясь, скашивал глаза на сигарету, выпуская дым, как-то зло и толсто напрягал верхнюю сизую губу. Провожал синие завитки соцуренными, посветлевшими до желудевой желтизны глазами. Он был недоволен моими словами, более того, был чрезвычайно раздражен ими. Я же говорил, что Валентина — героиня «Чулимска» — не обладает каким-либо определенным характером, каким-то ярко выраженным правом, норовом, она просто юна, а юность, говорил я, является лишь возрастным признаком, но, увы, никак не отличительной индивидуальной чертой того или иного характера. Впрочем, добавил я, может быть, подобный обобщенно юный образ позволит различным актрисам по-своему истолковать и показать героиню и, может быть, такая свободно очерченная роль и есть уже

драматургическое мастерство.

Саня отмахнул сигарету, посмотрел наконец в глаза: — А сам-то, сам что написал?!

В то же начальное лето нашего знакомства все его пьесы были впереди, а пока он написал несколько комических сценок, напечатанных в местных газетах, и выпустил книжечку юмористических рассказов «Стечение обстоятельств» под псевдонимом А. Санин. Рассказ, давший название книжечке, начинался словами: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека». Мысль эту он в той или иной мере разовьет в своих пьесах и в полной мере подтвердит своей гибелью.

Через год после нашего знакомства, близко или, как встарь писали, душевно сойдясь, мы надолго отправились с Саней на север области. Прилетели в Нижне-Илимск, старинное просторное село, с тротуарами из лиственничных плах, с широкими чистыми улицами, с густой акацией и старыми тополями возле школы. Село стояло на берегу Илимма, теплой и мутновато-желтой речки, пролегшей меж волных лугов и знаменитых илимских пашен. Сейчас на этом месте, как принято говорить, плещутся волны Усть-Илимского водохранилища.

Многие дни мы ходили мимо высоких осанистых домов Нижне-Илимска, по его лугам и берегам, с какою-то вдруг пробудившейся жадной пристальностью запоминая, как выючат лошадей охотники, собравшиеся в тайгу, к Илимской конторе, как полощут бабы белье с длинных, добела выгоревших мостков, называемых здесь лайницами, как пробиваются, выглядывают из песка зеленые кочанчики — будущие сосны.

Зашли и на почту — командировочные утекали, как илимская вода. В пустой гулкой комнате жужжали мухи, и две дремлю-распаренные девицы грызли семечки. Саня спросил:

— Девушки, как вы посоветуете? Откуда быстрее деньги придут: из бухгалтерии или из дома?

Девушки оставили семечки. — С вашим опытом уже романы надо писать. А как лучше телеграмму начать: срочно шлите или нетерпением жду?

У него уже был черновик «Двадцати минут с ангелом», и Саня соотносил его, так сказать, с беловиком — всегда беловиком! — реально. Добываясь естественности звучания и событийной естественности, Саня всегда проговаривал написанные или задуманные сцены: «ставил» для нас, товарищей, реплики, монологи, порой втягивал и нас в участники неких обусловленных им сцен. Мы жили на одной улице, через дом друг от друга. Я бывал у него, он приходил:

«Ты как, не очень занят? Хочу посоветоваться». Или: «Давай поразмышляем. Кто есть кто и что из этого выйдет». — и размышляли мы до едкой рези в глазах от табачного дыма. Саня долго колебался, выбирая профессию Шаманову — герою «Прошлым летом в Чулимске». Хотел вывести его журналистом. Мы размышляли: журналист слишком привычен в роли мучимого совестью человека, штатная фигура во всех представлениях, изображающих борьбу за справедливость. «Вот и хорошо», — говорил Саня, — пусть очищается от привычного», — но в конце концов написал Шаманова следователем, значительно, на мой взгляд, углубив этим выбором тему раскаяния.

Изнурительные, предварительные испытания пьес на прочность, должно быть, помогали Сане и ладно кроить, и крепко шить, добиваясь при этом чрезвычайной, если можно так выразиться, плотности, густоты остроумия. Почти каждая, даже отдельно взятая реплика остроумна, а в сцеплении, соединении они порой оборачиваются чересчур крепким настоем. Его бы чуть разбавить той живой, пленительной сумбурием, той речевой волшебной невинностью, которую находим мы в пьесах Гоголя и Островского. Я говорил об этом Сане.

— Не жидко, и то слава богу, — отвечал он.

В Нижне-Илимске же мы услышали историю дома, принадлежавшего когда-то купцу Якову Андреевичу Черных. Купец был суверен. Ему однажды сказали, что жить он будет до тех пор, пока строится дом. Черных перестраивал его всю жизнь, добавляя балкончики, башенки, крытые переходы. Саня перенесет этот дом в «Прошлой зимой...», устами Мечеткина помянет купца Якова Андреевича, а суверенное упорство, с которым он перестраивал дом, превратится в пьесе в символ неустанно возрождающейся человеческой чистоты: хлопоты юной Валентины с калиткой и палисадником, оберегающей цветы от ног равнодушных прохожих.

Улетели из Нижне-Илимска в Кеуль, деревушку на Ангаре, ниже створа Усть-Илимской ГЭС верст на сто. Темная, несущаяся ширь Ангары, темные, неказистые избушки вдоль левого берега, сети на пряслах, туманный холодный быстрый закат — вроде из последних сил он добрался до этой забытой деревушки. И вновь ненасытная пристальность, до странности сильное желание ничего не упустить, все запомнить и сохранить: глухую, согнутую старуху, путившую нас на ночлег, с неожиданно ясными, младенчески-голубыми глазами; чужное лицо и чужные плечи здешнего представителя рыбнадзора, обстоятельно объяснявшего: «У меня не купите, никто не продаст. А что это значит? Не евши спать ляжете, и уж сон не сон, а один сновидения», — мы торговали у него таймшенонка; и переменной рыбьей — от темно-малахитовой до салатной — на траве деревенского выгона. Мы становились как бы совладельцами и этого выгона, и этого заката, и вечерней неоглядно пустынной реки — так соединены мы тогда были, такое было полное, жаркое единодушие, что, пожалуй, те дни можно отнести к лучшим дням жизни.

Днем мы ходили в сельскую библиотеку. Пришли — замок, вернулись через час — замок. Разыскали библиоте-

текаршу. «Молодую, но не в меру полную женщину», — так характеризовал Саня одну из своих героинь — с мордастенькими голосистыми двойняшками на руках. Поддержали их, пока она снимала с лоснисто-полной шеи ключ от библиотеки, а потом несколько часов пробыли в маленькой, похожей на баню избушке с большим и прекрасным подбором сочинений русских классиков в сытинском и саблинском изданиях. Саня с темно-зеленым томиком в щедром тиснении, напечатанным, конечно же, на веленовой бумаге, отошел к окну. Полистал, уселся на лавку.

— Вот тебе и Кеуль. Можем здесь осесть, вступить в колхоз, стать образцовыми книгоношами. Послушай-ка...

Темно-зеленый томик оказался «Выбранными местами из переписки с друзьями». «Театр ничуть не бездельничает и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображение то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собой, разбирая по единицам, может вдруг потрясти одним потрясением, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Меняясь, долго читали вслух.

— Хоть Белинский и разругал эти «Места», а слог у них все равно отменный, — говорил Саня, когда мы закрывали библиотеку.

Отнесли ключ, пошли вдоль ручья, остановились у тальниковой, полуразобранной заперды перед впадением ручья в Ангару и все говорили о «Переписке». Сейчас я с некоторым отстраненным удивлением вижу нас тогдашних, у ручья, слышу наши неутомямо-восторженные голоса; глушь, где-то в кустах чисто и редко взбрыкивает коровий колокольчик, посвистывает лозина под напором ручья, инспектор рыбнадзора тащит в гору очередного тайменя, а мы говорим о Гоголе — есть некая причудливость в этой картине, но тогда мы — разбуди нас ночью — охотно вязались бы в любое разговорно-литературное бдение.

На моторке поднялись в Усть-Илим. Он только начинался: несколько палаток у Тонкого мыса окружали нас, сделанную волейбольную площадку, а угрюмую, дикую еще громаду Толстого мыса оживляло лишь знамя, поставленное первым десантом.

Мы поселились в двадцатиместной палатке вместе с лесорубами из бригады Валентина Мальцева. В палатке висела старенькая гитара, и Саня в первый же вечер потянулся к ней. Он потихоньку, не мешая намайвавшимся за день лесорубам, наигрывал любимую свою мелодию лвовлевского романа на слова Дельвига: «Когда еще я не пил слез...» — и, должно быть, парил где-то далеко над этой палаткой, над этим усталым, пропахшим мокрой полыньей вечером.

Воскресенья в ту пору на Усть-Илиме все проводили на берегу. Пошли и мы с бульдозеристом Мишей Филипповым, героем нескольких Санинских очерков. Развели костерок, улеглись вокруг и размякали в густом июльском тепле. Вдруг Миша Филиппов быстро, бесшумно вскочил, склонился над речным обрывчиком. Помахал нам: подвигайтесь, мол. К самому берегу подошла стерлядка и розовым кругленьким ртом хватала мошку. Миша шутливо перекрестил-

ся и с маху, прямо в робе прыгнул на стерлядку — то ли при падении он оглушил ее, то ли она растерялась, незнакомая еще с человеческим азартом, но Миша ее поймал воистину голыми руками.

Вполне возможно, что стерлядку поманила счастливая рыбацкая звезда Сани — рыба чуть ли не сама шла ему в руки. Удачлив он был и в охоте: ты целый день пробегашь, даже верещания кедровки не услышишь — пустая тайга, а вернешься к табору, Саня уже сидит, покуривает, и два-три рябчика лежат у ног. Видимо, бесы или ангелы, где-то там, в высях отсчитывающие наши дни, уже определили Санин срок и, смутившись своею поспешностью, щедро вознаграждали его водными и лесными радостями.

Целый день хлебали стерляжью уху.

— Что делается, а? — с какою-то счастливой сокрушенностью вздыхал Саня. — Прямо-таки и сравнить не с чем. Ты смотри, какая рыба! — застывшая к вечеру юшка была уже как плотня и студениста, что ложка в том стояла.

Саня всегда ел с видимым и завидным наслаждением, с тою восточною медлительностью, которая одна только и уместна за столом. Он даже на аэрофлортские завтраки распространял ее, ухитрялся растягивать их от Иркутска до Омска, так что, однажды при посадке лодос с чаем и курицей улетел от толчка к пилотской кабине, и уже от Омска до Москвы Саня ходил по рядам, облитым чаем, с извинениями.

Усть-илимские его очерки спокойны, порой усмешливы, совершенно свободны от тех умилительно-экзотических завихрений, которыми изоблачивал тогдашние некоторые книги, рассказы и поэмы о сибирских строгах. Саня рассказывал, к примеру, как женился бульдозерист Миша Филиппов, в свою распутицу вызволивший невесту из родительского дома на бульдозере; о плотнике Мише Ковче, получившем от любимой девушки письмо: «Между нами все кончено, я выхожу замуж»; о плотнике Павле Ступаке, к которому приехала жена, и как они зажили в отгороженном простыней углу двадцатиместной палатки — во всех историях этих уже просвечивало, проблескивало Санино хлесткое, остроумное слово. Вот он пишет о затоплении старого села Наратай:

«В новейшей истории Наратай отводилась роль Помпеи, разумеется, без жертв и неожиданностей. Заговорили о Братске, о невиданной стройке, что вот-вот должна грянуть у Падуны. Из Заярска приехал продавец и рассказал, что на Ангаре появились уполномоченные... При упоминании об уполномоченных, которых здесь никто не видел с сорока первого года, старые наратайские браконьеры тонко усмехались».

А вот сцена из первых дней Усть-Илимма:

«Громко ахнула дверь, в сумерках к нам подошел топограф Федя Аскеров. После работы Федя успел скатать в Невон, в магазин. Он подошел к нам, капризный и мечтательный».

— Я шатун, — сказал Федя, — я пашу с утра до вечера... по тайге в снегу вот по это место. Я шатун.

— Пройди, — сказал Толя, — пройди.

— Ты бурбундук, — сказал Федя, — ты ничего не понимаешь. Я хочу чаю».